

южетного моноцентризма, так и названные по стазивающегося конфликта «Сомнения», «Надо искать промисс», «Ожидание», «Религия», — свободно перемежаются с теми, где действуют только муж (в своей «изменной» роли) или дочь-школьница.

Пожалуй, это скорее бытовая, в духе Веры Пановой, повесть, стянутая действиями Забродиной в связи с разбором жалобы: служебный конфликт не дает растекаться бытописанию, но и не мешает изображать быт довольно широко.

В той мере, в какой точны детали быта и привлекателен сюжет с медицинской, — повесть интересна, поучительна, наглядна. Но и в ней все-таки нет того второго дыхания, той значительной самобытной авторской идеи, которая открывалась бы за всеми служебными и бытовыми перипетиями.

Вернее, она есть, но не разлита в самой повествовательной ткани, не находит образного воплощения, а врывается в финале повести репликой забродинской дочери — так сказать, «устами младенца...». Когда все близкие Софьи Павловны, ликуя, вспоминают перипетии победоносного разбора жалобы, девочка произносит: «Вы же совсем забыли об этом несчастном парне, который так ужасно погиб. Даже имени его не вспомнили. Никто вам не нужен. Все о себе, о себе...»

И это, конечно, важнейшее напоминание: человек — мера всех вещей. И какой, в сущности, это жалкий триумф, подобный триумфу во многих производственных повестях: тщеславно ликовать по поводу того,

что не только оказалась принципиальной, знающей, но и умело провела административный бой. И это ведь могло составить нерв повести, а не оказаться проходной репликой.

Но вот обращаюсь я к третьей повести — «Шура и Просвирняк» М. Рощина («Новый мир», № 3, 1982).

Ту злободневную ситуацию, что зорко воссоздали О. Полцов и С. Славич, он «выудил» в первых послевоенных годах. И вдруг из слегка ироничного казуса у Полцова, из благополучно зазершившегося случая у Славича она приобрела драматичную напряженность: оказывается, как давно все это случилось! Как давно возникал тихонький прохиндей Просвирняк, не умеющий ничего делать, зато умеющий интриговать и выслуживаться и достигший благодаря этому «степеней известных». Рискну сказать, что перед нами тот своеобразный эстетический эффект, который обнаруживается при инсценировках и экранизациях классической прозы, как давно уже, оказывается, было гако! И ввертлявый Молчалин, и быстро соррентиновавшийся Адуев в «Обыкновенной истории» (сегодня Гончаров мог бы назвать ее банальным сюжетом). Вот и М. Рощин словно инсценирует — только не классическое сочинение, а классическую ситуацию. И нам неважно, что приматы быта там, как и в русской классике, несколько отличны от современных. И это даже хорошо, что умело и живописно, без всякой модернизации воссоздана атмосфера быта того времени

(то, что всегда так удается Рощину и в его прозе, и в его драматургии на современную тему); и трепетная дрожь, когда монтер входит в большой пустой кабинет министра, и ода в складчину на вечеринке, и игра «в бутылочку», и наряды телефонисток, и раскатыстые начальские разносы на разных уровнях и погоревший на изготовлении елочных гирлянд Пошенкин.

И удивительное сочетание сегодняшней коллизии и тогдашней атмосферы вдруг рождает внутреннее напряжение, высекает искру второго, «надсюжетного» конфликта. Долго ожидаешь, в какой же контакт вступят Шура и Просвирняк, обозначенные в названии повести: уж не любовь ли закрутят эта некрасивая, с плоским лицом телефонистка и прихрамывающий монтер, перебирающийся из провинции в Москву? Но постепенно, исподволь постигаешь за этими фигурами противостояние двух сил, двух типов поведения: резкая, прямая, справедливая телефонистка Шура и ввертлявый Просвирняк. Это Шура первая раскусила неумеху Просвирняка, еще когда его все звали Витей: «Скоро, девочка, — вот помните мои слова — мы у Виктора Прокофьевича будем спрашивать в уборную сходить».

И это она первая вылетела с работы, когда Просвирняк, удачно донес на Пошенкина, тихонько вполз на его место начальника междугородной связи министерства. «Шура не ужилась там, а Просвирняк ужился», — подаодит грустный итог молодой монтер Ваня Зяб-

лик, наблюдавший разыгрывающуюся перед ним такую обыкновенную и такую драматичную историю.

За всеми поворотами сюжета пульсирует эта резкая авторская мысль: вот, оказывается, как давно такое стало происходить и как, стало быть, не просто бороться с этим! Так возбуждается то острое духовное напряжение, которого подчас недостает повестям на современную тему, ибо сила эмоционального воздействия все-таки определяется современной мыслью, современным духанием, а не современным антуражем.

В каждой из названных повестей твердо выявляется благородный авторский взгляд: как важно — сколь бы ни было грудно! — сохранить порядочность, совесть в искусующих сложностях быта. Мысль важна, мысль своевременная, но только у Рощина содержащая словно бы еще один дополнительный художественный оборот, «надсюжетный» эмоциональный эффект.

Сказанное не означает, конечно, призыва к пресловутому пафосу дистанции, просто у Рощина, в данной конкретной вещи, удачно наслоились сегодняшние умонастроения, благодаря чему вместо случая, казуса образовался «узляк».

Критикане не дано ни предугадать, ни порекомендовать, каким образом в каждом случае достичь такой многослойности конфликта — это дело мастера. Но им дано почувствовать, есть ли она. Порадоваться, когда она есть, и огорчиться, когда ее недостает.